Humanitas

Серия основана в 1999 г.

В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты
Центра гуманитарных научно-информационных исследований
Института научной информации по общественным наукам,
Института философии
Российской академии наук

Григорий Померанц

Записки гадкого утенка

Центр
гуманитарных
инициатив
Москва—Санкт-Петербург
2016

ББК 86.3
П 55

Главный редактор и автор проекта «Humanitas»
С.Я. Левит
Заместитель главного редактора И.А. Осиновская

Редакционная коллегия серии:
Л.В. Скворцов (председатель), П.П. Гайденко, И.Л. Галинская,
В.Д. Губин, Б.Л. Губман, А.Л. Доброхотов, Г.И. Зверева,
А.Н. Кожановский, И.В. Кондаков, Л.А. Микешина,
Ю.С. Пивоваров, И.И. Ремезова, А.К. Сорокин, П.В. Соснов

Научный редактор Г.Э. Великовская
Серийное оформление П.П. Ефремов

Померанц Г.С.
П55 Записки гадкого утенка / Г.С. Померанц. – М.; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2016. – 464 с., ил. (Серия «Humanitas»)

ISBN 978-5-98712-680-6

Известный и в России, и далеко за ее пределами эссеист, философ и филолог выступает на этот раз с мемуарной прозой. Григорий Померанц пережил и Сталинград, и лагеря, и диссидентство, но книга интересна не только и не столько событиями, сколько рожденными ими мыслями и чувствами. Во взлетах и падениях складывается личность человека, и читатель вступает в диалог с одним из интереснейших современников и проходит вместе с автором путь духовного труда как единственную возможность преображения.

ISBN 978-5-98712-680-6

© Левит С.Я., составление серии, 2016
© Миркина З.А., правообладатель, 2016
© Центр гуманитарных инициатив, 2016

Предисловие ко второму изданию

Первым моим опытом мемуаров был текст, вошедший в книгу «Сны земли»*: «В сторону Иры». Я вынашивал свой очерк больше десяти лет. Сперва совсем не знал, как лепить характеры. Мне легче было в мире идей. Но непременно нужно было оставить след Иры в человеческой памяти, и я тянулся к этой задаче, как жираф – к веткам деревьев саванны. В конце концов, у жирафа выросла шея, а я написал то, что хотел. Каждая страница была ответом на вызов смерти, оборвавшей жизнь Иры. От этого вызова внутренняя энергия, которую многие почувствовали. Но попутно я сделал и то, чего не ожидал: написал о *своей* жизни с Ирой; вышел кусок автобиографии с 1956 по 1959 г. Сперва я удивлялся отзывам, а потом понял, что иначе и не могло быть. Я писал об Ире через свою любовь к Ире. Мы очень тесно сплелись. Хотя если бы написанное выходило только обо мне или прежде всего обо мне, я не стал бы стараться.

Прошло несколько лет, прежде чем, под влиянием случайного толчка, хлынули воспоминания – и начался рассказ, как я учился быть самим собой и выныривать из потока событий, собирая и склеивая свое, отбрасывая чужое. В том числе – оказавшееся чужим эго, перемычку, превращавшую залив, открытый океану, в затхлые солончаки. Пятнадцать глав были написаны с осени 1983-го по январь 1986-го. 16-я глава («Мышкинский счет») написалась раньше, как отдельное эссе, после выхода на пенсию в 1978 г., и по ошибке попало в американскую книгу о Достоевском, но оно было обречено стать заключением «Записок».

Большинство глав печатается без перемен. Разве кое-где менялось настоящее время на прошедшее, прибавлялись примечания. «Корзину цветов нобелевскому лауреату» я дополнил, когда впечатление от промывки мозгов на Лубянке в декабре 1984-го перестало удерживать мою руку. Дополнения относятся к началу 90-х. Потом пошли сокра-

---

* Написана в середине 70-х годов, опубликована в Париже весной 1985 г. (по выходным данным – в 1984 г.).

щения. Бухгалтерия «Московского рабочего», где готовились к изданию «Записки гадкого утенка», запрограммировала 500 страниц и ни одной строки сверх этого. Пришлось предоставить текст судьбе, от которой Порция избавила Антония: куски мяса так и летели. Сперва я выбросил две главы – «Вопль к Богу» и «Негаснущий огонь». Потом мы вместе с редактором, М.К. Холмогоровым, осторожно вырезáли то стихотворение, то несколько строк в конце главы (пожертвовав несколькими строками, можно было выиграть страницу). В результате книга все-таки вышла (в 1998 г.).

Между тем, в моем архиве лежали еще две главы, написанные в 90-е годы: «После падения Ваала» и «До полной гибели всерьез». Восстанавливая эти главы, я их слегка переработал, а в главу «Вопль к Богу» прибавлен третий раздел. В 2001 г. появились еще три главы: о том, чего не было в передаче «Цитаты из жизни» по телеканалу «Культура» 5-го июня 2001 г. И теперь я надеюсь, что доживу до полного издания (с прибавкой Льва Толстого: е. б. ж. – если буду жив). А если и не доживу, то оставляю свою исповедь в наследство гадким утятам. Думаю, что они и в XXI веке будут вылупляться из яиц, не попавших на сковороду, и искать себе подобных.

За прошедшие годы многие имена и события позабылись. По возможности мы упоминали их в примечаниях. Есть, однако, одно обстоятельство, которое касается всей книги. Она писалась в постоянном ожидании обыска. Рукописи отдельных глав летом прятались в поленницу. По завершении немедленно отдавались на машинку – Леониду Кротову, а затем раздавались друзьям (чтобы, по крайней мере, один или два экземпляра уцелели, даже при самом большом усердии «товарища Волка»). Я писал, не видя книги в целом, второпях. Повторения были неизбежны. Там, где было возможно, при подготовке второго издания кое-что устранено. Но не всегда это казалось мне возможным.

Глава 1
В поисках потерянного стиля

В старые годы не было телефона, телевизора, даже керосиновой лампы, но был стиль. Потом появилось много необходимых вещей, а стиль пропал. Последним был французский классицизм: попытка общего стиля цивилизации. После его распада романтики потребовали от каждого неповторимой личной гениальности. Но где ее взять? Начались потуги – и пошлость. Флобер тратил целый день, чтобы продраться сквозь нее и написать одну страницу просто и выразительно. У нас из этой каши насилу выбрались так называемые реалисты XIX века, начиная с Пушкина. Новая норма ориентировалась скорее на Тургенева и Гончарова, чем на гениальных аутсайдеров, но писать можно было и читать тоже. Потом начались известные передряги – и оказалось, что общий язык одной школой не удержишь. Нужно общество, где на этом языке разговаривают: деревня для народного языка, «образованное общество» для языка Тургенева и Чехова. С ликвидацией буржуев общий язык стал какой-то мочалкой. Ленин сказал про Каутского: говорит, словно во сне мочалку жует. Но Каутский писал еще довольно сносно. Вот если взять нынешнюю газету, статью, доклад – действительно мочалка. Жуется и жуется мочалка, и ничего не выговаривается. Как в кошмарном сне. Пытается человек заговорить, а языка во рту нет. Бормочет что-то под нос и сам не понимает.

Наверное поэтому меня попросили рассказать, как я стал самим собой. Попросили люди, лично со мной не знакомые (только по текстам), и я понял их вопрос как вопрос о стиле. Т.е. каким образом я нашел свой стиль, свой язык, свой собственный голос. Первое, что захотелось ответить: я сам не знаю. Это далось очень медленно, много лет, и сделалось очень поздно, годам к сорока. Т.е. половина жизни прошла в поисках стиля (а что делать, если человек умрет в 27 лет, в 37, наконец – в 40 с небольшим? Не знаю).

Время от времени меня распирало словом. И я пытался писать. Но то, что я написал в 1938 г. о чувстве бесконечности, никто тогда не понял. Работу о Достоевском поняли один студент и два профессора. Словно бы я писал по-хеттски или на языке аборигенов Австралии.

На экзамене, когда надо было говорить банальности, язык меня вывозил. Наскоро полистав программу, я схватывал общую мысль и лихо выдавал ее экзаменатору. Но как только хотел выразить что-то свое, – слова падали в пустоту. Чего же мне не хватало? Общества. Общества людей, перекликавшихся со мной. Разговора на равных – и не только с людьми, но с деревьями, с полями... А потом опять с людьми, понимавшими деревья и море.

Я помню, как мама в 1937 году показала мне на пляже поэта Нистора, часами глядевшего куда-то за горизонт. Я не пытался с ним заговорить, но искоса поглядывал на него... Что он там видел? Может быть, свою судьбу (его впоследствии арестовали и расстреляли)...

Собеседники попадались на моем пути изредка, как деревья в степи. Начинались настоящие человеческие разговоры. Приходили минуты, часы взаимного понимания, открытости, – а потом события разбрасывали нас, и снова все заливала мертвая вода газет.

Я думаю, что стиль – это установка на разговор с известного рода людьми. Расин мысленно обращался к придворному, Зощенко – к недовыговаривающим, выброшенным в культуру и с трудом ворочающим словами (вроде одного деятеля*, которого я слышал с голубого экрана: «народы азиатского контингента...»). Совершенно освободиться от усмешки над своим собеседником Зощенко не мог и даже не хотел (где-то в нем сохранилась ценностей незыблемая ска́ла), но в то же время серьезно был убежден, что началась эра недовыговаривающих и надо учиться говорить на их языке; так что он и свои частные письма стал писать языком Зощенко. У Платонова другой язык, потому что другой собеседник, правдоискатель, выросший в деревне или на городской окраине и поверивший в революцию, как в Царствие Небесное; и автор сливается с ним совершенно, без всякой иронии... Напротив, Булгаков не желает разговаривать с Шариковыми и демонстративно хранит язык старого режима, звучавший в 20-е годы как белогвардейская провокация. У каждого крупного писателя был свой стиль, т.е. чувство собеседника. У меня это не получалось. Я разговаривал с самим собой, не зная, кто я такой и поминутно сбиваясь в книгу.

С 14 лет я пытался выразить мысль, не думая о печати, ни на что и ни на кого сознательно не ориентируясь. Но мои заметки были книжными (говорю по смутной памяти – я их растерял). Стихия живого философского спора возникла для меня только в лагере, в разговоре с другими з/к з/к, сидевшими по ст. 58—10, за болтовню**.

---

* Брежнева.

** Антисоветская агитация и пропаганда. Если в разговоре участвовали несколько человек, то прибавлялась статья 11 – то же в группе. Срока давались до 10 лет, а в военное или «в обстановке массовых волнений» – до расстрела или 25 лет.

Эти болтуны, вынужденные целый день щелкать на счетах или подбрасывать опилки в топку, по вечерам неудержимо философствовали, сплетая книжные обороты с языком воров. Гротескные фразы удивительно подходили к жизни, в которой мы считались преступниками, а преступники – вождями. Я почувствовал себя щукой, брошенной в воду. Из этой школы вышли «Пережитые абстракции» (первый вариант я написал, как только попал под амнистию, в 1953 г.).

Но продолжения не было. Прошло еще десять лет, пока я окончательно понял, с кем и для кого я пишу. И тогда сразу начались мои эссе. С 1962 года мой внутренний слог сложился, и я его только обуздывал, если надо было написать, скажем, реферат, т.е. просто изложить чужую статью, книгу. По возможности без отсебятины. Все равно, если у человека есть стиль, его не спрячешь. Он как-то вылезает в ритме фразы, в ритме периодов, в организации целого. Опытный читатель узнает меня и в реферате. И, конечно, не только меня. На чем-то ведь поймали Синявского, не спрятался он за Абрамом Терцем. Хотя сравнивать приходилось статьи с рассказами и повестями. Стиль – это шило. В мешке его не утаишь.

Стиль это не то, чего мне надо добиваться, скорее то, от чего я не могу избавиться. Например, когда возникает соблазн анонимности. Меня несколько раз убеждали в каком-нибудь одном случае спрятать свое лицо, и мой единственный и неопровержимый ответ был: всё равно узнают. И действительно узнавали. Не со второй, так с третьей страницы.

Я равнодушен к поискам корней, традиций и не слишком много думал, откуда рос, из чего складывался. Как-то сложился. Кажется, под влиянием Стендаля, Герцена, Достоевского; может быть, еще кого-то. Например Честертона. Или прозы поэтов. Или буддизма дзэн. Можно включить меня в какую-то традицию, но я сам не знаю, как ее определить. Я не боюсь потеряться, переступив через рамки вероисповеданий, национальных пристрастий и проч. Я остаюсь самим собой, о чем бы ни писал: о буддизме или Достоевском. И поэтому иногда мучаю читателя, находя у Достоевского коаны, о которых православные не знают и знать не хотят. Что мне делать? Я ведь не могу придумывать ассоциаций, которых не было. Если приходит сразу три-четыре, выбираю попроще; но ведь это не всегда возможно. Пол-оборота на Восток стало частью меня самого. Стиль – это человек. Найти свой стиль – значит найти свое внутреннее зернышко, свое чувство истины. Обладать стилем, как я это понимаю, – значит плыть, не думая, что плывешь, поворачиваться, не думая о повороте, совершенно верить себе, своему интуитивному знанию, куда повернуть, а не только знать какие-то образцы. Обладать стилем – значит быть самим собой. Тогда, если потянет писать, само собой образуется стиль. Как у Макара Девушкина.

Я сказал, что стиль – это установка на собеседника; а теперь говорю, что обладать стилем – значит быть самим собой. Думаю, это не такие разные вещи, как выходит на словах. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. «Быть самим собой» и «знать своего собеседника» – две стороны одного и того же.

Когда я стал писать свои эссе, я уже понимал, кто я такой: гадкий утенок. И понимал, что никакое мое красноречие не убедит стандартных уток. А стало быть, и стараться нечего. Говорить понятно выучился, работая в школе, но оставаться на уровне школьников во внеслужебное время было неинтересно. И я сразу стал писать для своих, т.е. для гадких утят.

Гадкий утенок идет по своей тропке без всякой цели. Все большие дороги, железные и шоссейные, ведут из одного птичьего двора в другой, и на всяком дворе утенка будут клевать. Вот он и идет – в сторону от больших дорог, по тропинке, где будут деревья, кусты, пригорки, может быть, лужи, а может быть, и озерко... Но больше ничего. Надо идти и идти. С одной, впрочем, надеждой: что этот путь без цели имеет свою собственную, скрытую, внутреннюю цель.

То, что я пишу, – для гадких утят. Для тех, кто хочет найти не другой птичий двор, а самих себя. Если вам не этого хочется, если какой-то улучшенный птичий двор вам нравится, – не читайте дальше. Это не для вас. Это не ваш путь. Я не хочу вас соблазнять и делать несчастными, сбивать с вашей дороги. Ездите, пожалуйста, в автобусах и в поездах... А я пошел пешком.

У Андерсена утенок, найдя пруд с лебедями, глядится в воду и видит, что сам он тоже лебедь. После этого нечего больше искать. Всё найдено.

Я думаю, что с настоящим гадким утенком такое случится разве только в раю. А на земле гадкий утенок остается утенком. Хотя он может почувствовать в себе лебединость. Больше того: я убежден, что каждый гадкий утенок несет за своими плечами неразвернувшиеся лебединые крылья, примерно как наполеоновский солдат – маршальский жезл. Гадкий утенок может учиться летать, может много раз испытывать чувство высоты... А потом снова оказываться на земле гадким утенком.

Между гадким утенком и лебедем есть семейное сходство – настолько, что Андерсен их смешал, но лебеденок как-то очень быстро становится лебедем. А гадкий утенок тянется к лебединости, не может не тянуться, и все-таки остается гадким утенком. Поднявшимся на две-три ступеньки, на несколько ступенек поближе к лебедям, но утенком.

Лебедь – это совершенный образ и подобие Бога. Так его понимали индийцы, называя лебедями своих величайших святых. Правда, соответствующее санскритское слово означает разновидность дикого гуся, но эта птица, нарисованная на всех изданиях миссии Рамакришны, очень похожа на лебедя, и переводчик, пытаясь найти русский